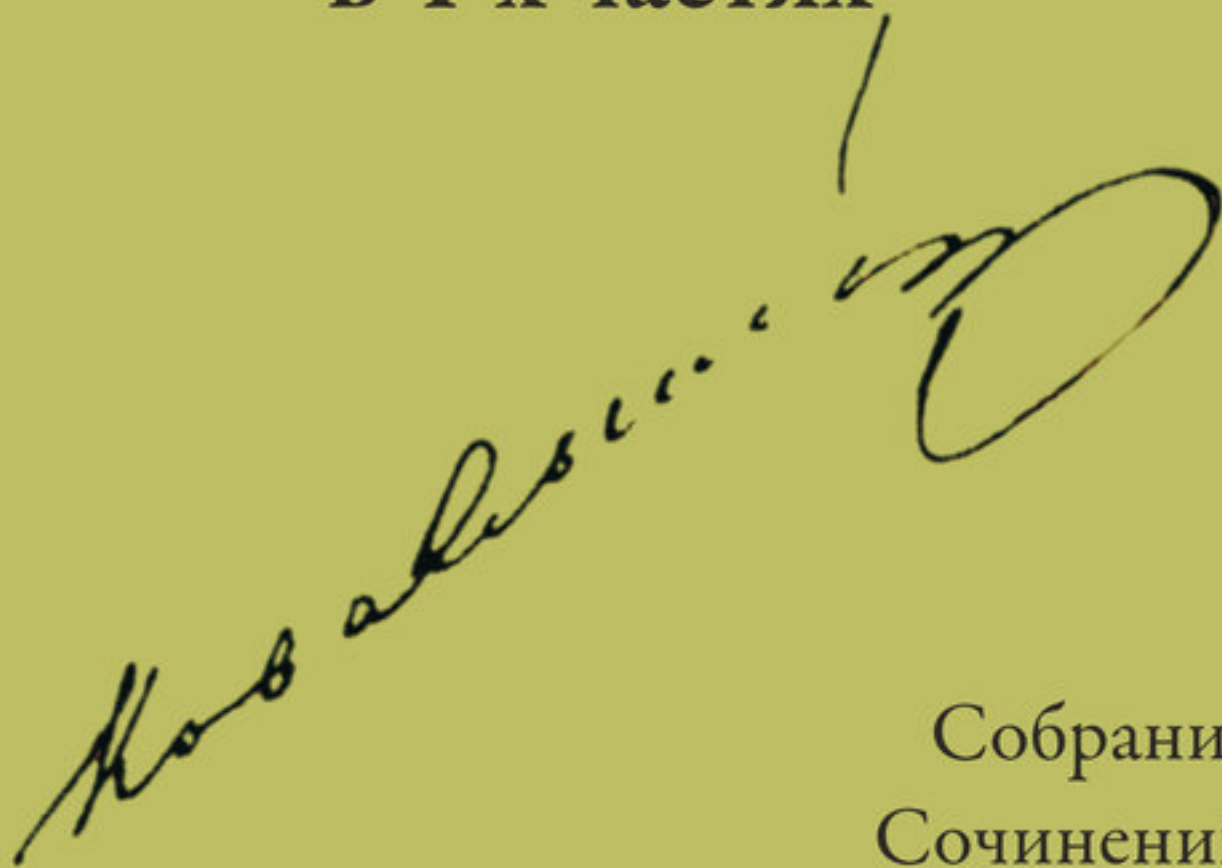


Ковалевский Е.П.

**СТРАНСТВОВАТЕЛЬ ПО
СУШЕ И МОРЯМ**

в 4-х частях

A large, stylized handwritten signature in black ink, written diagonally across the lower half of the cover. The signature appears to read 'Ковалевский' followed by a large, circular flourish.

Собрание
Сочинений
Том 1

Егор Ковалевский

**Собрание сочинений. Том 1.
Странствователь по суше и морям**

«ПРИЯТНАЯ КОМПАНИЯ»

1843

Ковалевский Е. П.

Собрание сочинений. Том 1. Странствователь по суше и морям /
Е. П. Ковалевский — «ПРИЯТНАЯ КОМПАНИЯ», 1843

ISBN 978-5-9903300-7-8

Настоящая книга является первой из Собрания сочинений Ковалевского Е.П., дипломата, путешественника, ученого, общественного деятеля. В ней публикуются очерки его жизни и творчества, а также очерки, вышедшие в свет в 1843–1849 гг., объединенные названием «Странствователь по суше и морям». Издание дополнено архивными материалами. Голос автора, обращенный к нам, читателям, увлекает; не ощущая почти двухсотлетний разрыв во времени, с удовольствием отправляемся в путешествие с этим мужественным, честным и сильным человеком. Издание оценят все, кто изучает историю российской дипломатии и геолого-географических исследований середины 19 века, а также широкий круг читателей.

ISBN 978-5-9903300-7-8

© Ковалевский Е. П., 1843
© ПРИЯТНАЯ КОМПАНИЯ, 1843

Содержание

От издателя	6
Егор Петрович Ковалевский. Биографический очерк	7
Предисловие	14
Часть первая	16
Предисловие	16
Зюльма, или женщина на востоке	17
Несср-Улла Бахадур хан и Куч-Беги	23
Экспедиция на пути в Бухару и военная экспедиция, действовавшая против Хивы (1839–1840 ГОД. Киргиз-Казачья степь)	27
Глава I	27
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Егор Петрович Ковалевский

Собрание сочинений. Том

1. Странствователь по

суше и морям в 4-х частях



Редакционная коллегия:

Винник М.А., д.пед.н., профессор (главный редактор), Горбунова Е.А., Винник М.А.
Пушкова А. А.

От издателя

Основой настоящего Собрания сочинений Ковалевского Егора Петровича, дипломата, путешественника, ученого, общественного деятеля, послужило издание, выпущенное типографией Ильи Глазунова в 1871–1872 годах уже после смерти автора.

Кроме литературных произведений в настоящее Собрание вошли дополнительные материалы, касающиеся жизни и творчества Егора Петровича: опубликованные тексты выступлений, статьи, а также архивные материалы, публикуемые впервые.

Биографический очерк, вошедший в третий том предыдущего издания за подписью П.М., дополнен выступлением П. Анненкова 27-го октября 1868 г. на общем собрании Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым, а также *Формулярным списком 1856 года о службе и достоинстве Корпуса Горных Инженеров Генерал-Майора Ковалевского* из Архива внешней политики Российской империи.

Пунктуация и орфография в настоящем издании приближены к современным нормам русского языка, географические названия и имена собственные оставлены в тексте в написании предыдущего издания с сохранением всех встречающихся вариантов.

Примечания настоящего издания выделены курсивом.

Выход первого тома настоящего издания приурочен к столетию со дня рождения Вальской Блюмы Абрамовны, первого биографа Егора Петровича.

Выражаем искреннюю благодарность Министерству иностранных дел Российской Федерации за поддержку проекта, Начальнику Архива внешней политики Российской империи Поповой Ирине Владимировне и сотрудникам Архива Волковой Ольге Юрьевне и Руденко Алле Владимировне за внимание и неоценимую помощь; коллективу Протопоповского УВК Дергачевского районного совета в лице учителя украинского языка, краеведа Остапчук Надежды Федоровны, Фесик Вероники Владимировны, а также Мельниковой Людмилы Григорьевны, которой, к глубокому сожалению, уже нет среди нас, за большую организационную и научную работу по увековечиванию памяти писателя на его родине – в селе Ярошивка Харьковской области.

Егор Петрович Ковалевский. Биографический очерк

В жизни русского общества, симпровизированного на европейский лад, и все еще импровизируемого, – в этом вихре быстро несущихся порядков, направлений, требований и учреждений, – деятели являются неожиданно, часто всего, менее готовые, редко годные, для предстоящей деятельности. Назначаемые с детства к прохождению известных поприщ, они обыкновенно их-то и не проходят; вытвердив известные роли, они этих-то именно ролей и не играют, а являются совершенно в других, и принуждены их импровизировать. При таланте это удастся, без таланта нет, если преданность или смелость всего не превозмогут; но во всяком случае свежий ум освежит рутину, и поможет иному – роль, которую он не знает, сыграть гораздо лучше тех, кто вытвердил ее в совершенстве... Как в небогатой персоналом труппе, ему придется сыграть и не одну, а может быть, несколько ролей в той же пьесе. Там, где умственный спрос превышает предложение, иначе и быть не может.

Е.П. Ковалевский принадлежал к разряду таких умов – быстрых и восприимчивых, растящих плоды на всякой почве. Студент – словесник в Харькове, горный инженер на золотых приисках и заводах Сибири, дипломатический агент в Китае, Черногории, Нубии и Египте; директор азиатского департамента в Министерстве иностранных дел, и независимо от всего этого, а частью и благодаря этому, – даровитый литератор – путешественник и исторический писатель; наконец, главный деятель в Обществе для пособия нуждающимся литераторам и ученым: вот те роли и поприща, где суждено было Е.П. Ковалевскому оставить по себе следы, очень характерные и симпатические, оригинальные и живые, каким был он сам. Много людей всяких развитий и народностей, под всякими градусами широты видели этого утлого, худощавого и скучающего человека, как бы нехотя и с трудом ворочавшего языком, с виду ко всему равнодушного и слабого, и который, в минуты, когда предстояло совершить то, что он себе поставил целью, внезапно преображался в энергического деятеля, с огненной речью, с несокрушимой волей и силой, даже физической. Но начинался опять обычный ход жизни, скучный и без содержания, и опять являлся немощный и ленивый человек, лениво отделивающийся шутками и полусловами от пустых разглагольствований и споров. Только среда совершенно близкая ему по душе и по направлению всегда имела в своем распоряжении то особое добродушие и тот полузадумчивый, но оттого еще более разительный юмор, которые отличали Ковалевского. Уроженец юга России, он до конца сохранил на себе отличительные черты своей родины, милые холмы которой, с ее дубовыми рощами, хуторками в степи и стаями белых гусей на прудах, не удалось затмить в его сердце ни величавым красотам Белого Нила, ни стремнинам Алтая и Черной Горы. На обратном пути из Нубии он приводил в недоумение своих земляков, уверяя их, что Малороссия гораздо лучше всего, о чем они его расспрашивали. Каждое случайно услышанное меткое выражение на родном наречии приводило его в восторг неописанный: «Ах, как это хорошо!» – говорил он, воспламеняясь, – «Ну может ли что-нибудь сравниться с этим!»

Егор Петрович родился в 1811 году, в тридцати верстах от Харькова, в деревне Ярошовке, родовом имении своего отца, почтенного екатерининского бригадира, уважаемого, за стойкость правил и строгую жизнь, многочисленными родными и соседями, которые всегда находили в его уютном доме радушный прием и готовый разумный совет. Младший из пяти сыновей, и притом с детства болезненного сложения, автор наш, по всем этим правам, был баловнем дома – сестер, братьев, отца и особенно матери, женщины неистощимой доброты и любви, на которую он и походил более других в семействе. Патриархальность тихого и небогатого, впрочем, совершенно достаточного, помещичьего быта; приволье полей и садов; рассказы суеверной дворни, и особенно няни, о разных таинственных чудесах, происходящих в темные южные ночи, иногда даже среди белого дня, в старых тенистых аллеях; жалобные крики совы на семей-

ном кладбище под серебряными чашами тополей: вот обстановка детства, имевшая неотразимое влияние на молодую душу Ковалевского. Не без серьезной иронии, ему столько свойственной, рассказывал он после легенду о себе, созданную конечно воображением все той же няни: как она пошла с ним, ребенком, в сад, как посадила на траву под грушу, а сама полезла «трусить дули»; как она вдруг услышала, что Лёленька заплакал, – смотрит, а рядом с ним сидит другой Лёленька и тянется к нему; как она спустилась скорее на землю и схватила ребенка – которого, уж и сама не знает, да ну бежать... и т. д. и т. д.

– Я уверен, что она взяла именно не меня, а того другого; оттого-то я и не похож ни на что, – прибавлял он с уморительной серьезностью. Но, и не шутя, расположение к таинственному и чудесному сохранило над ним власть до старости. Предсказатели и гадалщицы находили в нем своего посетителя. Правда, он тут же с несравненным комизмом передавал их пророчества и свои собственные ощущения, когда ему приходилось проделывать разные испытания, вроде нюханья с пророками табаку, питья чаю и т. п. Восторженная религиозность детства, – плод домашней обстановки, в нем продержалась недолго. В голубом воротнике студента он еще молился горячо: близость и частые посещения родного крова, тревоги и неизвестность экзаменов поддерживали в нем эту потребность. За ней показалась другая – потребность выливать душу в размеренных звуках и образах, и вот, уже на студенческой скамейке, задумана и начата целая трагедия, оконченная впоследствии и напечатанная под названием «Марфа, посадница Новгородская, или Славянские жены». Единственные экземпляры этой библиографической редкости сохранились в семействе автора. Небольшая книжка, писанная белыми стихами, с посвящением трагедии, прозой, памяти Озерова, интересна только как первый опыт будущего писателя и иного значения не имеет.

Окончанию курса в университете предназначено было дать новый оборот жизни молодого человека. Отправленный в Петербург, к своему брату, который был двадцатью годами его старше и имел самостоятельное служебное положение, он скоро последовал за ним в далекую Сибирь – на Алтай, куда последний был назначен главным горным начальником. Евграфу Петровичу Ковалевскому, впоследствии министру народного просвещения, а тогда дельному горному инженеру и умному администратору, не оставалось ничего другого, как пустить своего меньшего брата по пути, на котором он мог руководить его. Скоро молодой студент, облеченный в форменную одежду горного человека, уже работал на золотых приисках, и плодом новых ощущений в девственной тайге полудикого края был очерк жизни золотопромышленников и рабочих, напечатанный в «Библиотеке для Чтения» и замеченный в свое время по меткости описаний и наблюдательности. Тощая брошюрка стихотворений, «Сибирь – Думы», написанная в тех же пустынях, под шум Иртыша и Оби, осталась, вместе с «Марфой посадницей», свидетельством того, что ни драма, ни стихи не были уделом Ковалевского. Последних он и не пытался писать более; но к драме еще раз вернулся, уже в развитии своего литературного таланта, – не с большим, однако ж, успехом. Это была пьеса в прозе, изображавшая судьбу светского мота, обедневшего и всеми покинутого, но у которого достало воли – в глуши золотых приисков, собственными усилиями и трудом, поправиться, разбогатеть и явиться мстителем в прежнее общество за свое временное уничтожение. Драма предназначалась для сцены, даже разучивалась, и главную роль, с горячими монологами, должен был играть Каратыгин, – обстоятельство, особенно пугавшее автора.

– Как я только подумаю, – говорил он, – что Каратыгин примется кричать это на весь театр, – так бы вот и взял назад пьесу.

И точно, он ее взял, а рукопись уничтожил; таким образом, она не появилась и в печати.

Случайно попав на дорогу горного инженера, Ковалевский был выведен ею также неожиданно и на другое поприще, поприще дипломатическое, где врожденные таланты и энергия

выдвинули его скоро на видное место. Как горный инженер, он был командирован в 1839¹ году в Черногорию, для разведки золота и обучения туземцев промывке его. Но при условиях, какие тогда сложились, не одна эта цель была достигнута: молодой, горячий, симпатический русский, поэт в душе, и такой же молодой и горячий, поэт уже на деле, владыка Черногории, Петр Негош, воспитанный в России, близкий ее нравам и интересам, – не замедлили сойтись тесно и дружески – не как представитель могущественного народа и государь маленького племени, но как сходятся только молодость. Они делили досуги и труды, читали, декламировали Пушкина и вспоминали милую им обоим далекую страну. Патриархальные сенаторы и весь патриархальный люд Цетинье и гор смотрели на обходительного и всему сочувствовавшего, чему они сами сочувствовали, русского, как на своего... Какой-то первобытный мир и тишина охватили душу молодого путешественника: «мне кажется, будто я опять в Малороссии – в Ярошовке», – писал он родным.

И вдруг в невозмутимых горах разразилась военная буря: исконные враги черногорцев, австрийцы, вторглись в эти священные горы и подняли на ноги всех, от старика до отрока. Ковалевский, как не чужой, был принужден (и, конечно, не жалел о том) взять также ружье и карабкаться вместе с горцами по стремнинам, преследуя скоро разбежавшегося врага. Тут начинаются трудности положения нашего героя: упоенные победой смельчаки, не сознавая того, что они сильны только под защитой этих природных стремнин, и непобедимы своим умением карабкаться по ним, вздумали перейти в наступление и перенести войну в Австрию.

– Пусть русский капитан нас ведет туда! – кричали они.

И не было никакой возможности вразумить их ни в том, что идти в Австрию безумно, ни в том, что русскому капитану вести их туда просто преступно.

– Русский царь для того и послал тебя, чтоб ты за нас заступился! – шумела толпа, – веди на австрияков!

Дело доходило даже до угроз. Нелегко, и то под условием перевешать пленных австрийцев (между ними были и офицеры), склонились черногорцы на мир, которого они не хотели заключать без личного ручательства Ковалевского.

– Пускай подпишет капитан! – говорили они: его австрияки не посмеют обмануть, а нас обманут.

Капитану горных инженеров приходилось стать главнокомандующим, трактующим о мире...

Австрийские, а за ними и все европейские газеты, конечно, не преминули раздуть эпизод этот чуть не во вмешательство русского капитана в международные дела дружественной державы, и он едва не заплатился за него своими эполетами. Времена были не особенно ласковые, и только искреннее и совершенно правдоподобное изложение всего дела, как оно действительно было, а не так как хотели уверить, что оно было, – в особой записке, поданной венскому нашему послу самим виновником, сменило гнев на милость и расположило в его пользу государя, который даже пожелал видеть Ковалевского лично по возвращении его в Петербург. Вывезенный им маленький черногорец, сын одного из сенаторов, для воспитания в России, был допущен также в Аничкин дворец, и оба были приняты милостиво.

– Ты в какую службу хотел бы? – спросил император черногорца.

– В такую, как капитан! – отвечал тот решительно.

– А в такую, как я, не хочешь? – продолжал Николай, указав на свой гвардейский мундир.

– Не хочу – у капитана лучше.

После этого он был определен в Горный Институт, на казенный счет, где, однако, отличился более на разводах, чем в классах. Настоящее свое призвание нашел он на Кавказе.

¹ Ковалевский Е.П. посетил Черногорию в 1838 году (Прим. ред.).

Поездка в Черногорию решила однажды навсегда дальнейшее направление жизни Ковалевского: в литературе первой книгой его, замеченной критикой и публикой, были «Четыре месяца в Черногории»; на поприще служебном – дорога дипломатическая открыла ему двери, и с этих пор не было той щекотливой, трудной или отдаленной командировки, для исполнения которой не прибегали бы к нашему горному инженеру. Затеять ли экспедицию в Бухару или зимний поход в Хиву, – в снежных степях уже качается на верблюде этот неутомимый путешественник; задумают ли пробиться дипломатическими факториями и консульствами, в недоступные для них земли Китая; пошлют ли по Нилу ученую комиссию для менее ученого сближения с Мегметом-Али; надо ли ехать в Пекин, или в земли славян в разгар европейской коалиции против России; наконец, быть в осажденном Севастополе: везде – в Африке и Китае, в Крыму и Хиве, в Черногории, Боснии, Сербии, Далмации, – везде и всюду знакомая нам тощая фигура усталого человека подвизается самоотверженно и неутомимо...

Обстоятельное изложение этой стороны деятельности автора не входит в план беглого очерка его жизни. Место ее, и место весьма почетное, – в истории наших международных отношений с племенами далекого Востока и славянами. Здесь довольно указать на то личное влияние, какое вносил везде Ковалевский, обязанный всегда счастливыми результатами только своему богатому уму и знанию людей. С народами упрямыми и лживыми, с их властями в шариках на шапках, ему помогала его неустранимая, почти отчаянная решимость. Заключение крайне выгодных торговых условий с Китаем Россия обязана именно этой черте своего уполномоченного. Помышляя вообще немного о всякой опасности, он особенно мало помышлял об опасности от начальства, и потому часто прибегал в таких случаях к мерам, менее всего указанным инструкцией. Истошав мирные способы для окончания переговоров с несговорчивым и лживым народом Востока, он делал ему как бы примерную войну: издали показывались конвойные казаки, и какая-нибудь незлобивая пушка, едва ли хоть раз стрелявшая во всю жизнь, обращала одним видом своего безвредного жерла непреклонных шариков в самых послушных, и трактат подписывался. Затем, и казаки и пушка, с таким успехом сыгравшая несвойственную ей грозную роль, возвращались опять к их мирным занятиям... В хивинскую экспедицию Ковалевскому пришлось кинуть все свои пожитки, и только тем задержать гнавшихся хищников, которые делили добычу, пока он успел запереться в крепостцу, откуда и отражал дикарей с необыкновенной стойкостью и находчивостью.

Для нас преимущественно дороги эти индивидуальные черты политического деятеля, потому что они обрисовывают его как человека.

Удивительно ли, что влияние и популярность Ковалевского всегда превосходили его общественное положение? Между славянами, например, они были так велики, что ревнивое австрийское правительство, после 1854 г., закрыло ему навсегда въезд в империю, и не одному носившему то же имя пришлось испытать на границе его неудобства. За то назначение Ковалевского директором азиатского (он же и славянский) департамента было встречено как счастливое предзнаменование между славянами. Тогда, как и прежде, и даже после, когда он почти уже частным человеком, сенатором, вдали от административных сфер, отдался любезным ему занятиям литературой, – его скромный, но гостеприимный кабинет был той точкой притяжения, которой не миновал ни один заезжий славянин. От князя Черногорского до последнего пастуха все перебивали в нем, отвели свою душу искренней беседой, получили разумный и благой совет, нашли поддержку, ободрение, нередко и денежную помощь, хотя сам помогавший, случалось, вынимал для этого последние деньги из бумажника. Любя и балуя, он часто и журил своих любимцев, высказывал им горькие истины, заставлял изменять решения, мириться и проч., и все они видели в этом его право, а в своем повиновении ему – долг.

– Егор Петрович – отец нам! – говорили уходя, иногда наиболее обруганные и пристыженные.

Но не одни славяне знали кабинет Ковалевского – эту своего рода иллюстрацию к разнообразной жизни странствователя, всю составленную из прихотливых произведений далеких стран. Из них двое живых: китайская собачка (скоро, впрочем, исчезнувшая), с поразительным типом Небесной Империи, и черный как сапог негр, вывезенный из Нубии и окрещенный в Пекине, приветствовали еще на пороге посетителя, – первая сиповатым лаем, а другой – ослабленными, снежной белизны зубами. Если к этому присоединить кипы журналов, книг и рукописей, валявшихся всюду и неизбежные конфеты, которыми хозяин, слоняясь из угла в угол, лакомился во всякое время дня и угощал других, – то небольшая комната, постоянно наполненная самым разнообразным обществом, представит довольно наглядно домашнюю обстановку человека нас занимающего. В известные часы можно было, наверное, встретить здесь, рядом с первобытным сыном Черной Горы или жителем Белграда, всю аристократию ума, а иногда и рождения или общественного положения. И все это как-то укладывалось вместе, гармонировало в этих гостеприимных стенах. Самые разнородные оттенки мнений, направлений и чувств могли встречаться только здесь; представители самых противоположных литературных лагерей – сходитья только сюда. За то все, что можно было узнать и услышать свежего и никому еще неизвестного по всем отраслям, – литературы, администрации, политики и науки, – узнавалось и слышалось именно здесь. Не будучи пуристом в деле политических убеждений, Ковалевский отличался полнейшей терпимостью. Часто спор, принимавший жесткий оборот, искусно обрывался искренним смехом, вызванным оригинальной и всегда уместной шуткой хозяина. Самая неуступчивая и строгая молодежь крепко пожимала ту самую руку, которая протягивалась людям, считавшим чуть не сокрушителями основ общества многих молодых посетителей кабинета. Только люди нечестивые и казнокрады знали, каковы те неумолимые сарказмы, которыми он обстреливал их, как артиллерийским огнем. Добрый и снисходительный вообще, он испытывал даже некоторое наслаждение в том, что умел продлить муки этих людей и оказывался неистощимым в изобретении к тому способов.

Рассказав о дипломатической карьере нашего автора, мы почти рассказали и о его карьере литературной: одна вызвала другую, и обе они взаимно дополнились. Путешествия и в службе и в литературе составили того цельного «Странствователя по суше и морям», который по праву завладел принадлежащим ему и там и здесь местом. После Черногории, Хива, Бухара, Ташкент и проч., вызвали ряд самобытных и ярких очерков, в форме до того времени небывалой, в изложении легком и живописном, трепетавших образностью, юмором и меткой наблюдательностью.

– Надо написать то, что я видел так, как обыкновенно у нас не пишут, – говорил Ковалевский, близким. – Мне кажется, тогда только и выйдет интересно.

И точно, оно вышло хорошо. Первая, небольшая книжка рассказов, изданная самим автором под общим названием, выписанным выше, разошлась так быстро, что право второго издания было уже куплено книгопродавцем по истечении какого – нибудь месяца. Критика всех журналов и газет единодушно признала замечательный талант писателя-странствователя. Даже газета Булгарина, не всегда воздававшая должное авторам, не воздававшим должного редактору, превознесла книгу, чем и остановила – было на время ее продажу. Эта характерная черта должна быть сохранена для будущего историка русской литературы.

– Помилуйте! Что вы наделали! – говорил прибежавший к автору издатель. Зачем вы не просили Фаддея Венедиктовича лучше обругать?

Но так как автор не просил также и хвалить, за не прошенную же похвалу не воздал должного, то скоро появилась и брань, начинавшаяся оговоркой, что мы-де поддались первому впечатлению и сожалеем о том... Этой поправки было достаточно, чтоб снять опалу публики с книги и направить продажу лучше прежнего.

Успех подстрекнул писателя, и за первым выпуском последовали другие, с не меньшей удачей. Хотя с тех пор прошло много лет и появилось несколько прекрасных путешествий в

русской литературе, но «Странствователь по суше и морям» сохранил все-таки свою цену, уже потому, что страны им изображенные не из тех, которые посещаются легко и охотно, а если и посещаются, то не всегда такими даровитыми и умными литераторами. Египет с Нубией и Китай доставили еще несколько интересных томов того же автора, уже хозяйничавшего в литературе путешествий.

Более сложная и заботливая деятельность служебная приковала потом многолетнего путешественника к столу директора департамента, и, остановила, было надолго продолжение литературной его карьеры. Романы, повести и рассказы, писанные им большей частью под разными псевдонимами (Нил Безымянный, Егорев и др.), в разные промежутки безденежья, вызванного поражениями за ломберным столом, не могут идти в счет и не вошли в настоящее собрание сочинений. Сам сочинитель видел в них не более, как литературные грехи. Проказы же современной цензуры делали их еще греховнее. Так, в одной повести «Виртуозы», посвященной описанию известного в то время зловредного кружка игроков, цензор, руководимый охранительными началами ко всему, даже к игорным домам, счел за лучшее перенести место действия «на воды в Германию», и оставил светлые петербургские ночи, ялики на Неве, ночных ванек-извозчиков, нанимаемых в Коломну, табак Жуков и т. п.

В последние годы своей жизни, опытный и известный уже на прежнем поприще писатель попробовал свои силы на новом, и в книге «Блудов и его время» явился искусным передавателем портретов исторических личностей и эпох...

Да, в эти последние, тихие годы жизни, протекшей так тревожно и богато в опасностях дальних странствований, в столкновениях общественной и служебной деятельности; после долго не умолкавших порывов к новым трудам, новым ощущениям и новым тревогам, – неутомимый странствователь и пылкий деятель мало-помалу уложился в почти безвыходного работника у письменного стола. Во всякое время дня можно было застать его с пером в руке, или над документами и книгами публичной библиотеки, и редакторы лучших наших журналов не без удовольствия видели мелкую и частую его скоропись, которой покрывались листы за листами. Если что отрывало еще Ковалевского от таких занятий, так это дела по комитету Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым, которого он был одним из главных осуществителей и почти пожизненным председателем. Говорим *почти*, потому что устав временно устранил выбывающего члена, впредь до новой очереди, причем Ковалевский был всегда избираем вновь, – единогласно. Тут сосредоточились вся последняя энергия и вся любовь, вносимая им всюду, где только он являлся действующим лицом. Общество и его комитет, пенсионеры общества и вспомоществуемая учащая молодежь стали семьей старого холостяка. Устройство чтений и лекций, концертов и представлений в пользу Общества занимали и поглощали его как юношу, почти как ребенка: он оживлялся, суетился, ездил, писал во все инстанции, державшие в своих руках дозволения и запрещения этих невинных собраний; не чувствовал усталости, весело шумел и молодедел душой. Успех радовал его, как победа, равнодушие публики выводило из себя, а редкие нападки журналистики на действия комитета просто делали его несчастным. Он о них говорил с огорчением, почти со злобой; видел страшную несправедливость к людям, дающим свое время, свои труды и часто свои деньги делу, за которое их же еще и ругают! Дни заседаний комитета, всегда собиравшегося у него, были для него отрадными днями, и как эти заседания мало походили на что-либо формальное чинно устроенное, и как в то же время они велись умно, последовательно и осмотрительно при помощи радушного председателя, не забывавшего своих конфет и слонянья из угла в угол! Всегдашнее расположение Ковалевского помочь и дать денег нашло себе полное применение в его новой роли. Не ожидая решения комитета, по просьбе нуждающегося, иногда даже не внося в комитет этой просьбы, он спешил выдать из своего бумажника, всякий раз, когда последний позволял это. А бывали случаи, что он и не позволял. Владелец его был одним из тех немногих высших русских чиновников, которые, дослужась «до степеней известных», остаются с окладами таким степе-

ням неизвестными и едва позволяющими существовать безбедно. А тут еще – всякое отсутствие сильных ощущений и не угасшая вполне потребность в них, заставляли искать опасностей и тревог на единственном, доступном поприще в четырех стенах – на поприще карт. Зато, когда случалось этому истертому, большому бумажнику, который вечно валялся на столе, не скрывая ни от кого своих удач и поражений, – когда ему удавалось полнеть, он был к общим услугам. Счастлив был проситель, попадавший в такое время: хорошо было и близкой молодежи, а она постоянно окружала молодого до старости Ковалевского.

– Берите, господа, покуда есть, – говорил он с веселой искренностью: после и захотите – не будет.

Затем импровизировался какой-нибудь необыкновенный завтрак, пикник; логи и подарки родным, племянникам, игрушки внукам, – словом, «покуда было», нельзя было успокоиться. Говорят, то же самое проявлялось и в игре: покуда еще было, он не останавливался...

Умер Ковалевский, 21 сентября 1868 года, почти внезапно – от нервного удара, не оставив по себе, как и следовало ожидать, ничего, кроме чистого, честного имени, многим известного и дорогого тем, кто имел случай узнать ближе человека, его носившего; ничего, кроме таких услуг отечеству на разных поприщах, какие не всякий гражданин может предъявить на суд общества, да кроме заметной пустоты там, где не стало этого благородного деятеля, умевшего все наполнять собой, и кроме литературных трудов, полных таланта и наблюдательности.

П.М.

Предисловие **(к изданию 2014 г. «Странствователя...»)**

По просьбе бухарского эмира прислать горного инженера для разведки и исследования месторождений полезных ископаемых Ковалевский был командирован в Бухару (17 марта 1839 г. – 22 августа 1840 г.).

10 апреля 1839 г. Егор Петрович выехал из Петербурга, а в мае 1839 года прибыл в Оренбург. Отправка экспедиции задерживалась: оренбургский генерал-губернатор В.А.Перовский, на которого были возложены обязанности по ее снаряжению и отправлению, в то время был усиленно занят подготовкой к зимнему походу в Хиву для защиты русских интересов в Средней Азии [1]. Чтобы не терять время, Ковалевский учит татарский, знание которого впоследствии ему сильно пригодилось, выезжает в степь, посещает Сергиевские минеральные источники (г. Сергиевск, Самарской обл.).

Экспедиция, присоединившись к торговому каравану, выехала из Оренбурга только 30 октября 1839 года. В торговом караване присутствовал бухарский посланник Балтакули Чагатайбек Рахметбеков [1]. Ковалевского сопровождали горный инженер А.Р. Гернгросс, переводчик Григорьев и мастера горного дела. Однако достигнуть Бухары русским путешественникам не удалось. 17 ноября 1839 года у Больших Барсуков Ковалевский и его спутники фактически оказались в плену у хивинцев. В ночь с 21 на 22 ноября под покровом бурной ночи они бежали, 24 ноября, проехав 300 верст, достигли Акбулакского укрепления, где находился русский гарнизон. Через три дня укрепление осаждают хивинцы, и Ковалевский как старший в чине принимает на себя руководство обороной укрепления, заставляет хивинцев снять осаду и отступить. Позже Ковалевский и его спутники присоединились к отряду Перовского, получившего приказ об отступлении в Оренбург, куда они и прибыли в марте 1840 г.

По материалам экспедиции Ковалевским были опубликованы: в 1840 году в «Горном журнале» – статья «Описание западной части Киргиз-Казачьей, или Киргиз-Кайсацкой степи» (совместно с А.Р. Гернгроссом) [4], и в 1843 году – очерк «Экспедиция на пути в Бухару и военная экспедиция, действовавшая против Хивы (1839–1840 года)» в составе первой части «Странствователя по суше и морям» [5].

Во время экспедиции Е.П. Ковалевский и А.Р. Гернгросс ведут геологогеографические, метеорологические наблюдения, которые записывают в путевой журнал (с 30-го октября 1839 г. по 11 марта 1840 г.). На этот журнал есть ссылки в статье «Описание западной части...» как на приложение к ней, но, возможно, в ходе подготовки к печати он был неожиданно снят цензурой. Впервые журнал был опубликован в 1980 г. [1]. Для настоящего издания копия путевого журнала была любезно предоставлена Архивом внешней политики Российской империи.

30 марта 1840 года Перовскому было вновь предписано отправить в Бухару Ковалевского. На этот раз с торговым караваном в Бухару он добирается через Ташкент. Свои впечатления Егор Петрович опишет в очерках, которые также войдут в первую часть «Странствователя...».

23 августа 1840 г. Ковалевский возвращается в Петербург.

Во второй части «Странствователя...», выпущенной вместе с первой отдельной книгой в 1843 году, Егор Петрович описывает Афганистан, Кашмир и Пенджаб, время посещения которых, по указанию Вальской Б.А. [2], точно установить не удалось. Очерки «являются одним из первых описаний русскими путешественниками этих стран и имеют важное значение для изучения Индии и Афганистана конца 30-х – начала 40-х годов XIX в...» [2, С. 79], а очерк «Рассказ сипая» «представляет собою неизвестный русский исторический источник об англо-афганской войне 1838-1842 гг...» [2, С. 80].

Осенью 1843 г. на предложение Петербургского товарищества на «прииск и разработку золотоносных россыпей и других металлов» в Валахии и на восточном склоне Карпатских гор...» [2, С. 81] Ковалевский согласился отправиться на Карпаты и Балканы и произвести там разведку золота, что он и выполнил в 1843–1844 гг. Путешествие на Карпаты Ковалевский описал в третьей книге «Странствователя...», вышедшей в 1845 году [6]. Путешествие на Балканы и Нижний Дунай Егор Петрович описал в IV книге «Странствователя...», отрывки из которой публиковались в «Библиотеке для чтения» в 1844 и 1847 г., а полностью книга вышла в свет в 1849 г. [7].

Библиография:

1. Вальская Б.А. Путешествия Е.П.Ковалевского по Западному Казахстану в 1839–1940 гг. (по неопубликованному путевому журналу) // Страны и народы Востока. Вып. 22. Книга 2. М.:Наука, 1980. С. 46–65.
2. Вальская Б.А. Путешествия Егора Петровича Ковалевского. М.:ГЕОГРАФИЗ, 1956. 200 с.
3. Ковалевский Е.П. Воспоминания о берегах Нижнего Дуная // Библиотека для чтения, 1844. Том 65. С. 1–46.
4. Ковалевский Е.П., Гернгросс А.Р. Описание западной части Киргиз-Казачьей, или Киргиз-Кайсацкой степи // Горный журнал, 1840. ч.4.
5. Странствователь по суше и морям. Кн. 1 и 2. СПб.: Типография И.И. Бочарова, 1843.
6. Странствователь по суше и морям. Карпаты. СПб.: Типография М.Ольхина, 1845.
7. Странствователь по суше и морям. Часть IV // Библиотека для чтения, 1849. Том 94. С. 19–96.

Часть первая

Предисловие (к изданию 1843 г)

Издаю свои путевые записки выпусками для того, чтобы иметь возможность прекратить их во всякое время, и если первая книжка вам не понравится, то вы не увидите второй, хотя она уже в станках типографии. Описываю только то, что видел сам, или слышал от очевидцев. Судьба кидала меня большей частью в страны малоизвестные и почти недоступные для европейцев; на долю мою всегда доставались труд и лишения; тем не менее, участники в моих странствованиях, в моих тяжких экспедициях, с сердечным трепетом вспомнят былое, читая эти страницы: былое всегда так отрадно в воспоминании!

Зюльма, или женщина на востоке (Ташкент)

Я жил в Ташкенте и уже начинал свыкаться со своим грустным житьем... но надобно вам объяснить, что такое Ташкент?

В Средней Азии, составляющей обширную впадину всей Азии, раскинуто на безграничном пространстве несколько жилых мест, несколько городов, составляющих оазисы пустыни. Они образуют отдельные ханства, которые меняют так же часто свой вид, как и зыбучие пески, окружающие их. Это делается очень просто: город цветет торговлей и красуется азиатской роскошью; он возбуждает зависть и алчность соседа, и вот неприятельский набег; случай или сила благоприятствует чуждому оружию: город разорен, богатства расхищены, жители уведены в плен, иссякшие каналы не поддерживают более плодородия и вскоре сугробы песка заносят развалины бывшего города, и только изредка, закинутый сюда прихотью судьбы, путник-европеец, остановится над этими развалинами и горько задумается над тщетою человеческой.

Ташкент ни лучше, ни хуже других среднеазиатских городов, составляющих резиденции ханств. Десять тысяч низеньких, с плоскими крышами, домов, разбросанных в самом прихотливом беспорядке, обнесенных большей частью стенами, и таким образом, составляющих как бы отдельные укрепления; все это пересекается кривыми, узкими улицами и переулками, на которых никогда не увидишь и двухколесной повозки, не то, чтобы другого какого экипажа; посредине довольно обширная площадь, где кипит народ во всякое время дня, если нет молитвы в мечети, куда, волею или неволею, идет он на зов муэдзина; вокруг стена, в четыре сажени вышиною, местами разрушенная, местами, увенчанная бойницами, – и вот вам Ташкент.

Ташкент и Кокан, как следует двум добрым соседям, ведут между собой беспрестанную войну; то подчиняются вместе со своими городками и селами один другому, то составляют два отдельных ханства. В бытность мою в Ташкенте, хан его, Юнус-Хаджи, разбил наголову коканское войско, схватил самого хана, зарезал его, посадил в Кокане правителем своего человека и таким образом стал в голове довольно многочисленного и сильного народа.

Странно! В судьбе этих двух народов очень часто играет главную роль женщина: говорят, так уж им определено свыше! Еще недавно Кокан, слитый воедино с Ташкентом, выдерживал трехлетнюю войну против Бухары и, наконец, в прошлом году, покорен ею, – и причиной этому всему была женщина. Вот как было дело: – но я отступаю от своего предмета; что делать, старость болтлива! – Мегемед-Али, хан коканский, после смерти своего отца, женился на старшей его жене. Бухарский хан, облекший сам себя званием эмира, как блюститель магометанского закона, потребовал расторжения этого брака; мало, выдачи преступной жены и муллы, совершившего такой брак, для поступления с ними по законам. Само собой разумеется, что Мегемед-Али хотел быть сам властителем своих поступков; муллу бы то он, может быть, и выдал, а уж жены никому не хотел уступить без боя, и вот загорелась война, продолжавшаяся три года; война, которой последствия мы уже описали; прибавим к этому, что и хан, и незаконная жена его, и преступный мулла попались в плен; мулла уже казнен, с ханом поступят, вероятно, как поступают ханы друг с другом, а жена, – но поступки эмира не подлежат нашему суду².

В Азии две породы людей, совершенно отличных одна от другой в нравственном отношении: это люди оседлые и люди кочевые. Человек оседлый – раб безусловный своего властителя; в нем только и чувства, только и страсти, что стремление к барышу, к наживе. Человек кочевой свободен, как птица поднебесная: удальство, баранта, вот сфера, в которой он обра-

² По новейшим известиям, Кокан уже сбросил с себя чуждое владычество и правится племянником зарезанного в Бухарии хана. (1843).

щается; отсюда вечная борьба этих двух народов между собой. Окружите их природой, находящейся также во вражде с людьми; сосредоточьте страсти людей в одну, которая, вследствие того, превращается в исступление; накиньте на все это мрачный покров фатализма, – и вот вам нравственный мир среднеазиатской пустыни, на горизонте, которого, яркой звездочкой блещет любовь женщины, та дикая, заменяющая все чувства, все страсти, всесокрушающая, всеоживляющая любовь, о которой мы не имеем понятия. Там женщина, в своем заточении, только и живет для любви; ее обдумывает она в длинные дни одиночества, ее лелеет, ею гордится и красуется; она не знает других сердечных волнений; она чужда мучений нашего света, в котором изнывает бедное женское сердце, это сокровище любви, бережно сохраняемое на Востоке только для того, кому назначит его судьба; и только любви, одной любви просит она за все самопожертвование; и как страшится, как дрожит она за эту любовь. Не идет ли в урочный час ее властитель-муж, и она бьется по комнате, как бедная птичка, завидевшая из клетки своих птенцов, и ревность западает ей в сердце, а ревность женщины на Востоке ужасна! Она проявляется или яростью львицы, защищающей своих детенышей, или мертвенностью отчаяния беспредельного. – Я расскажу один случай: воспоминание живо, ярко развивает предо мной свиток событий, едва я коснусь его.

Мы кочевали около Сыр Дарьи. В караване общее внимание возбуждала женщина, о красоте которой рассказывали чудные вещи, хотя лицо ее было всегда закрыто, и едва ли кто из рассказчиков видел его. Женщина эта уже несколько лет была женой какого-то богатого хивинца, но Аллах не благословил ее детьми, и вот она отправилась на поклонение какому-то святому мужу, и теперь возвращалась домой. Все это мне говорил очень подробно и очень красно наш толстый караван-баши, как вдруг общая суматоха прервала его разглагольствование. Вдали открыли всадника, и караванный люд был уверен, что это передовой соглядатай какой-нибудь баранты, которая не замедлит грянуть на караван. Все столпились в кучу, вооружились как могли, хотя для того более, чтобы придать себе грозный вид и дешевле откупиться от баранты; но общий страх вскоре рассеялся; всадник ехал прямо к каравану, без всяких предосторожностей, и вскоре узнали, что это брат нашей незримой красавицы. На другой день, рано до зари, поднялся караван, и степь опять опустела. Мы всегда оставались на месте несколько времени по уходе каравана и потом догоняли его на рысях; Джюлума³ наша уже была снята, и мы любовались, как покинутые огоньки переигрывались между собой, то накидывая длинную тень вдали, то ярко освещая окрестную пустыню. У одного из этих огоньков, мы заметили человеческую фигуру и подошли к ней, надеясь найти такого же запоздалого и ленивого путника, как мы сами. Каково же было наше удивление, когда мы узнали, по одежде, ту самую красавицу, о которой наслышались столько чудес. Она была недвижима. Ветер спазнул с нее покрывало. В лице ее, полном красоты и молодости, как бы замерла жизнь в минуту страшных, судорожных мучений; только пара движущихся, словно действием внутреннего механизма, зрачков, обнаруживала признаки жизни в этой женщине. Поодаль от нее, брат ее садился на коня и уводил с собой другого; мне стало страшно *за нее*; я кинулся к всаднику и остановил его. – А она? – спросил я. – Она остается здесь. – Как, здесь? – А что ж ей делать в Хиве: муж изменил и отказался от нее. – И он уехал.

Мы подошли было к покинутой всеми страдальце, и хотели убедить ее ехать вслед за караваном, но она, медленно приподняв руку, вынула из-за пояса обнаженный кинжал: знак был очень понятен, и мы удалились.

В этом положении останется несчастная, пока ворон не выклюет ей глаз, пока ветер не приклонит к земле, и песчаные сугробы не занесут ее.

Обращаюсь к своему предмету: воспоминание о нем и теперь возмущает мою душу.

³ Джюлума, дорожная киргизская кибитка, род войлочной палатки.

Я сказал, что начинал свыкаться со своим грустным житьем в Ташкенте. Да, жизнь европейца-немагометанина не завидна в Средней Азии. Редкий из тех немногих, которые вернулись оттуда, может похвалиться, что он не отведал яда, не испытал побоев, или по крайней мере не посидел в яме, что заменяет там наше тюремное заключение. Довольно вспомнить об одном Вольфе, который едва ли не вытерпел всех пыток, был продаваем на всех рынках Средней Азии, и – как объяснить странность человеческой природы – этот Вольф, вспоминая очень хладнокровно о своих бедствиях, не мог говорить без выражения особенной досады о том, что раз его продали дешевле, чем его слугу. – А участь Муркрафта, Коноли и, наконец, Бюрнса, или Сикендер-Бурноса, как называли его в Азии? Положение мое, правда, было не таково: я пользовался, хотя по наружности, дружбой хана и, вследствие того, уважением окружающих его. Мне предоставлена была, по-видимому, совершенная свобода, но я знал, что за поступками, за всеми движениями моими строго следят, и редко показывался в городе; жил между своими, изредка развлекаемый посещением своих ташкентских друзей и не мешался в их интриги. Прекрасный сад, расположенный у самого нашего дома и здоровый климат, которым один Ташкент, из всех среднеазиатских городов, может похвалиться, да разве еще Самарканд, – все это делало существование мое очень сносным. Но вдруг неожиданное происшествие разрушило весь мир моей жизни.

Поздно вечером, не знаю как, прокралась ко мне, никем не замеченная, старуха, негритянка: таинственно подошла она ко мне и, наклонившись к уху, произнесла шепотом: счастье валится тебе с неба; ты во сне не бредил о такой благодати.

– Ступай за мной.

– Куда?

– Это уж мое дело.

– И мое также.

– С ума сойдешь от радости, когда узнаешь. Счастливец, счастливец, – продолжала она, глядя на меня с улыбкой и качая головой. – Тебя зовет Зюльма. Зюльма, что краше самаркандской розы, Зюльма, любимая жена хана.

– Я не пойду, – отвечал я равнодушно.

Все убеждения негритянки были тщетны; я твердо помнил, что приехал сюда не для любовных интриг, и не поддавался никаким искушениям. Взбешенная, убежала она, но не прошло и получаса, как мне доложили, что негритянка ожидает меня.

– Прости меня, старую дуру, что я не так передала тебе волю ханши и не выдай меня злосчастною. Зюльма решила принять тебя по просьбе хана, который, видишь, хочет тебе показать этим особенную свою дружбу. Сам хан у нее, и они прислали звать тебя.

Это было довольно правдоподобно. Женщины в Средней Азии менее недоступны, чем в Турции или в Малой Азии, и еще недавно Султан-Букей угощал меня в кибитке старшей из своих жен. Я также знал сильное влияние Зюльмы на хана и народ, и потому, хотя не без некоторого сомнения, отправился за негритянкой.

Было поздно. Ташкент спал под сению Кара-тау, который, как верный пестун, берег его от песчаных ураганов степи. Сады, обнимающие отовсюду город, навевали прохладу и благоухание. На душе было легко и весело; но это отрадное чувство беспрестанно возмущается в городах Востока; мы коснулись главной площади, на которой возвышалась пирамида из голов человеческих, недавний трофей, приобретенный в победе над коканцами; таких пирамид несколько за городом: они составлены из голов киргизских, которым нет того почета, как коканским; далее, мы едва не задели за ноги ташкентца, торчащего на колу: выкатившиеся глаза его сверкали страшно и искаженное судорогами предсмертных мук лицо, навело бы ужас на непривыкшего к подобного рода зрелищам. Не подумайте, однако, чтобы Юнус-Хаджи был какой-нибудь необыкновенный тиран; нет! Он был среднеазиатский хан. За то вполне заслуживал уважение за другие свойства; силой непреклонной воли, он успел соединить воедино разно-

родные части своего ханства, которое разрушалось от междоусобий и безначалия, и заставить страшиться своей власти соседей. Его упрекали в одной слабости, излишней страсти к своей Зюльме, за которую он воевал с коканским ханом и готов был сразиться с целым светом, но справедлив ли этот упрек?

Наконец, мы достигли жилища Зюльмы. В комнате, слабо освещенной, на коврах, настланных в несколько рядов, сидела женщина, до половины закрытая покрывалом, вместо уродливого халата с черной сеткой на лице, под которым обыкновенно скрываются здесь женщины; голова ее, как созревший виноградный гроздь, склонялась долу; по колебанию покрывала видно было, что дыхание ее было тяжело и прерывисто; она была одна. Ни словом, ни малейшим движением, она не приветствовала меня; удивление мое возросло еще более, когда старая негрятка ушла и щелканье ключа доказало мне ясно, что мы были заперты, герметически заперты. Я играл очень жалкую роль, стоя, безмолвный и неподвижный, перед закутанной в фату ханшей.

– Послушай, – сказала она мне наконец, – ты оскорбил меня, тяжело уязвил меня прямо в сердце, ты презрел меня, отказавшись от свидания, за которое бы другие отдали полжизни, отдали бы жизнь свою; ты не пришел на голос Зюльмы, но явился по приказанию ханши; ты был овечкой, вместо того, чтобы быть человеком, благодарю и за то; я и не ждала другого от феринга⁴.

Ты думал, что я зову тебя на ложе любви... и, – Зюльма судорожно смеялась, – тебя... Да простит тебя Аллах! Тебя, бедный, жалкий и бледный, как полинялый, изношенный халат.

Излив свой гнев в самых язвительных насмешках, показывавших ясно, в какой степени было задето ее женское тщеславие, она вдруг замолкла, как бы вспомнив, что не слишком ли уж многое высказала мне. Я выслушал все с хладнокровием, истинно европейским, которое еще более раздражало ее и, когда она перестала говорить, произнес прощальное слово.

– Постой, – воскликнула она, вскочив, как испуганная, и часть покрывала, откинувшись назад при ее судорожных, а может преднамеренных движениях, открыла лицо, исполненное красоты; в нем не было той античной правильности, в которой господствует величие и холодность: ее красота была разнообразна и неуловима, как ярко мечущий брызги водопад; лицо, то бледное как слоновая кость, то покрытое румянцем, глаза черные, как смоль и яркие, как огонь; алые, беспрерывно движущиеся губы и эти стиснутые перлы зубов, – все говорило душе и от души; все в ней было огонь и нега.

– Ты без чувства, без сострадания ко мне, – пусть так; но не за себя я стану просить тебя; выслушай: есть женщина, она также из Ференгистана; молится тому же Богу, которому молишься и ты; так же чувствует, так же думает, как ты, и эта женщина страдает, невыносимо страдает, день и ночь молит своего Бога о спасении, и нет спасения...

– Скажи, что я могу сделать? Выкупить ее, просить хана... я готов.

– Выкупить. просить хана. попробуй вырвать добычу из когтей тигра, когда он почуял запах крови! Эта женщина в руках самого хана, и не сегодня-завтра сделается его наложницей. Надобно его предупредить. слышишь ли, надобно ее похитить и выпустить на волю, как птичку к празднику.

– Ты знаешь мои отношения к хану, ты знаешь нашу дружбу.

– Так где же позор христианке быть наложницей. Все это были сказки. и ты сам, конечно ты добыл для хана эту неверную. Ты мне говоришь о своей дружбе с ханом, которую продашь за теньку, с ханом, который бы тебе давно надел петлю на шею, если бы не боялся мести. Ты мне станешь говорить о страхе Божьем, торгуя невинностью своей соотечественницы, кяфир проклятый.

– Есть мера всему, – воскликнул я, выведенный наконец из терпения.

⁴ Феринг – Европеец.

– А, ты сердишься! Значит, у тебя есть сердце. Послушай же меня, мой милый, мой сердечный, ведь я тебе не объяснила дела. ты не понял меня, и потому так упорно воспротивился моей воле. Видишь ли, я такая нетерпеливая.

Да, я это ясно видел, и если ханша радовалась, открывши во мне *признаки* сердца, то я сделал не менее важное геологическое открытие, именно, что эта женщина принадлежит к *породе вулканической*, и скорее согласился бы стоять у жерла самого Везувия во время его извержения, чем быть в тогдашнем моем положении. Я очень понимал, чего хотела она, – избавиться от соперницы, которая могла похитить у нее власть над ханом и народом, и для этого избрала меня орудием; тем не менее, однако, эта соперница была христианка, я это знал и прежде, и с ужасом отвергнула все предложения хана. Я был унижен, попран в глазах ханши, которая, не зная и не желая знать моих отношений к властителю Ташкента, не могла объяснить себе моего поступка иначе, как трусостью, а что может быть презреннее трусости в глазах женщины и особенно азиатки, незнакомой с высокими добродетелями Европы, где поступок мой назвали бы великим *гражданским героизмом*. Но ханша, казалось, решилась на все, чтобы только приобрести во мне ревностного содействителя своей воли. Она ласково взяла меня за руку и усадила возле себя; рука ее, с которой скатилась за локоть рубаха, рука белая и чудно округленная, обвилась вокруг моей шеи, грудь колебалась у моей груди, дыхание ее жгло меня и кружило воображение.

– Ты не бойся, – говорила Зюльма, – тут тебе не угрожает ни малейшей опасности. Мы все устроим: завтра утром ты простишься с ханом, а ночью я пришлю тебе его пленницу, – это уже мое дело как достать ее, – ты зашей ее в тюк, да помести в свои парталы и до рассвета выступай в путь; никто и не догадается, что за товар ты везешь; осматривать вьюков ваших не будут, я это знаю. Так чего ж тебе бояться? А если хан и спохватится на другой день, что ж? Хоть бы и погоню послал за вами, и то не беда: побоитесь защищаться, – бросьте краденую вещь, оставьте неверную, и ступайте с Богом.

– Хан растерзает ее и ты будешь спокойна, – сказал я, едва переводя дыхание от сильного волнения.

Ханша не отвечала, но она глядела на меня с такой ясной улыбкой, что я понял ее ответ.

– А не нужна тебе эта неверная, – променяешь ее выгодно в степи султану Абдул-Хаиру: от него никто не вырвет ее; и я тебе дам денег... Вот, видишь, ты и согласился, светлое солнце моей жизни.

– Нет, я не согласился! – воскликнул я, с усилием расторгая ее объятия, как бы расторгнул цепи в минуту крайней опасности. – Я не согласился, – повторил я, страшась и самой мысли быть участником ее дела и силясь разрушить очаровательный сон, который она навела на меня.

– А, ты не согласился. Ты обманул меня. ты только хотел упиться моими ласками. Так знай же, в них отравка; никто не упивался ими без кары ужасной или без наслаждения райского. Пускай будет моя погибель, но погибнешь и ты. – Она позвала свою негритянку. – Ступай! Зови сюда хана. Пусть видит мою преступную связь с ним, – она указала на меня, – и накажет нас судом Божьим. Что ж ты стоишь? Иди! Зови его, не то я криком своим созову весь свет.

Несчастливая ханша едва могла говорить, задыхаясь от гнева; негритянка сначала сочла ее, кажется, за сумасшедшую, но последняя угроза привела ее в совершенное отчаяние: она хорошо знала, что ожидало ее в таком случае, если бы хан узнал о моем присутствии здесь и с воплем кинулась к ногам Зюльмы.

– О, пощади меня, старуху, всегда тебе верную, пощади себя; умереть страшно, а такой смертью, какую придумает хан. пощади, пощади нас, – вопила она.

Истерический смех и рыдания Зюльмы прервали ее проклятия; изнеможенная напором гнева и ревности, она без чувств упала на землю.

О, как было больно, невыразимо больно глядеть на ее страдания. В ту минуту я забыл о собственном своем положении, а оно было небезопасно, потому что шум, произведенный Зюльмой, мог привлечь ревнивый дозор хана или чуткий слух ее соперниц, которые конечно воспользовались бы этим случаем для пагубы ее. Не знаю, долго ль оставался бы я в комнате ханши, если бы негритянка не вывела меня оттуда и почти силой не вытолкнула за ворота первого двора, предоставив собственному произволу; но я хорошо знал Ташкент и в лабиринте его улиц отыскал без труда свое жилище...

* * *

На другой день только и говорили в городе, что о христианке, пленнице хана, внезапно исчезнувшей из своей комнаты. Хотя эти толки велись шепотом и с видом глубокой тайны, тем не менее, однако, они были общие всем; говорили, что дьявол похитил пленницу; другие видели, как она порхнула птицей из слухового окна, называли даже колдуна, превратившего ее в птицу, которого хан велел отыскать и повесить. Но люди, более недоверчивые, ташкентские скептики, сомнительно качали головой и спрашивали: «а кровь? Отчего очутилась кровь в комнате пленницы?» Но никто не дерзнул прибавить к этой истории имя Зюльмы. Хан я не видел несколько дней, как ни силился дойти до него: мне было необходимо нужно с ним видаться, потому что жестокости, которыми он ознаменовал эти дни, большей частью раздражались над нашими пленными.

Пленница хана была француженка, родом, как кажется, из Пондишери... История жизни ее исполнена происшествий чрезвычайных. Ее коротко знает Вольф, который и теперь живет в Лондоне и наслаждается своим счастьем, такой дорогой ценой купленным.

Несср-Улла Бахадур хан и Куч-Беги (Бухара)

Бухара *эль шериф*, Бухара святая, славная, только и города на Востоке, что Бухара, Бухара рай земной, и мало ль каких эпитетов не прилагают азиатцы и особенно бухарцы, говоря о своем отечественном городе, и мало ль каких сказок не повторяют о нем. Например: повсюду свет нисходит с неба на землю, в одной Бухаре он занимается и восходит к небу; это чудное явление видел сам Магомет, когда неся по поднебесью, сопутствуемый архангелом Гавриилом. Известный персидский поэт, Фердоуси, говорит, Бухара не город, ряд городов. Европейские ученые придают большую важность Бухаре и распространяют влияние ее просвещения не только на Востоке, но даже на старинный запад (Гиббон). Я помню, как Гаммер, в бытность мою в Вене, силился доказать, что в училищах Бухары скрываются целые сокровища книг, особенно по части истории. Да, в Бухаре много училищ, более 300, но все учение в них ограничивается чтением Корана, различным толкованием его текста и богословскими диспутами, которые ведутся по известной форме; это нечто вроде наших старинных бурс; к довершению сходства, бухарские ученики, во время каникул, ходят на заработки, как было некогда и у нас, и тем обеспечивают свое существование на остальное время года, особенно в тех школах, на которые мирская благотворительность не слишком распространилась: что же касается до исторических памятников, то они не могли уцелеть, если бы и были, при тех многочисленных переворотах, которым подвержен азиатский город.

После всего, что мы слышали о Бухаре, конечно не без сердечного трепета приближались мы к ней, отыскивая взорами ряд городов, о которых говорит Фердоуси, и что ж мы не заметили Бухары, пока не толкнулись об стены ее. Правда, роскошные сады, окружающие загородные домики Бухары, сады, дышащие ароматом и негой юга, вполне вознаграждали наше ожидание и навевали отрадой на душу, истомленную единообразным видом пустыни, а мысль о крове, о приюте после трехмесячного странствования в степи, где не видели ни жилья, ни цветущего деревца, где все исчахло под влиянием раскаленных лучей солнца или притоптано набегами киргизов, эта мысль заставила бы нас забыть о самой Бухаре, если бы оглушительный шум не возвестил, что мы уже в *святом городе*, в котором можно полагать до 70.000 жителей. Длинный, почти сплошной ряд стен, местами разрушенных, тянулся вдоль грязной и узкой улицы. Только большие крытые базары, мечети и караван-сарай, лицом к площадям, разнообразили город, да арки, дворец Хана, укрепленный и стоящий на высоте во всеувиденье, возвещал о присутствии власти деспотической.

Грустное впечатление сделала на меня Бухара.

Я не стану вам ее описывать в подробностях; после описаний Мейендорфа и Бюрнса, это был бы лишний труд, и остановлю ваше внимание на хане Несср-Улле, который еще не был ханом в бытность Мейендорфа в Бухаре, а Бюрнс не удостоился быть ему представленным.

Несср-Улле, нынешнему хану Бухарии, не более 35 лет; он среднего роста, медленной и важной походки, худ, в лице видно истомление сладострастной жизни, и бледность его выказывается еще ярче от белой чалмы, навитой очень толсто на голове его; небольшие черные глаза его в беспрестанном движении, но если он говорит что-нибудь противное своим чувствам или старается уверить в том, чего никогда не исполнит, то опускает глаза свои в землю, как бы боясь, чтобы в них не прочли его тайной мысли, и набожно поглаживает свою окладистую, прекрасную бороду⁵.

⁵ Портрет его вскоре будет отлитографирован (1843).

Бухарцы говорят, что он храбр, как лев; – эта добродетель идет всегда впереди прочих в Азии; – правда, он лично водил войска свои несколько раз на Кокан, но поведение его в последнем походе при Пишагаре не доказывает в нем большой храбрости. Страсть к славе, к завоеваниям, в нем есть, и он далеко не похож на тех ханов, которые проявляют власть свою одним насилием и тиранством, живут в серале и умирают на виселице. Несср-Улла сделал много добра Бухарии. Устройство артиллерии и регулярного полка в 1000 человек (сарбазов) оказало ему чрезвычайную пользу в войне с коканцами. Но всего ярче проявилась сила его характера в низложении Куч-беги.

Куч-беги представлял характер совершенный в восточном роде; он ни в чем не изменил себе в течение всей жизни, и самый опытный романист не мог бы создать столь полного характера, не мог бы выдержать его так постоянно от начала до конца. Куч-беги был первым министром при покойном отце хана, Мир-Хайдере и пользовался неограниченной его доверенностью. Умный, хитрый, вкрадчивый, корыстолюбивый, суеверный, властолюбивый, он не щадил никого для достижения своей цели, все и всех считал он за средства, которые мог употреблять по произволу, лишь бы они давались ему.

Властвовал собственно Куч-беги, а Мир-Хайдера тешил он призраком власти и названием хана, но тем не менее надобно было его беспрерывно тешить или усыплять, чтобы он не очнулся и не поступил с ним так, как поступил впоследствии Несср-Улла.

Происшествие, которое я сейчас расскажу, отчасти выказывает характер Куч-беги. Он был нездоров и невесел, когда ему сказали, что в Бухару пришел феринг, европеец, а зовется Мартын. Куч-беги, без дальнейших исследований, велел феринга посадить *в яму*, а деньги и имущество у феринга отобрать. Вслед за тем доложили, что у феринга ни денег, ни какого вещественного имущества не оказалось, а есть какое-то особенное, которое он покажет самому Куч-беги. Позвали феринга.

Мартын, – не станем называть его по фамилии, тем более, что он известен во всей Средней Азии под именем Мартына и едва ли сам помнит свою первоначальную фамилию, которую он менял по произволу, – Мартын родился в Галиции; кое-чему учился, кое-что наследовал от *почтенных* своих родителей, и с этим незначительным запасом покинул родину и отправился в путь; переходил из города в город, из страны в страну и, наконец, очутился в Лагоре, медиком в армии магараджи Реджид-Синга. Не подумайте, однако, чтобы он принял это звание, потому что был к нему приготовлен; вовсе нет! Он так же точно согласился бы быть инженером или артиллеристом, если бы ему предложили то или другое. Все это было дело случая. Мартын поступал по немецкой пословице: Бог дал место, даст и ум! И, действительно, Мартын, покровительствуемый генералом Вентурой, был отличным медиком, скопил себе небольшое состояние и жил припеваючи, как вдруг попал в известную историю, которая была между генералами Вентурой и Куртом за карету, единственную карету в Лагоре, поссорился со своими покровителями и должен был оставить владения магараджи. В Индии ему нечего было делать и он пробирался на северо-запад, в Среднюю Азию, не зная ни края, куда шел, ни цели, к которой стремился. Он имел в виду только одно, что в Европе без денег плохо, а приобрести их трудно.

В Кундузе, хан Мурат-бей, как водится, ограбил его и выбросил за город, потому что считал его ни к чему не годным. До Бухары дотащился он мирской милостынею.

– Посмотрим, что за сокровище у тебя, – сказал ему Куч-беги; какой-нибудь поддельный камень: знаю я вас, европейцев, но меня нелегко обмануть.

– Мое сокровище – знание! – отвечал твердо Мартын.

Куч-беги, не знавший этой фальшивой монеты Европы, принял слова Мартына за насмешку и пришел в исступление. – Ты смел оплевать мою седую бороду, посмеяться над прахом предков моих... и прочее и проч. – Поток гнева его лился неукротимо; но Мартын выдержал напор его хладнокровно; только когда дело дошло до палок, он сказал, не теряя,

впрочем, своей обычной смелости: «я покажу тебе это знание. Ты болен, я излечу тебя; ты скучен, я развеселю тебя».

Куч-беги укротился: это черт, а не человек, – произнес он. Мартыну только этого и надобно было; ему гораздо выгоднее было слыть чертом, нежели человеком.

Вслед за тем он дал Куч-беги слабительное, и тот выздоровел; принес ему дистиллированной виноградной водки, и Куч-беги, предававшийся втайне запрещенному напитку, не мог надивиться искусству феринга. Мартын дал ему еще какого-то снадобья, за которое старик благодарил его более всего. – Словом, судьба Мартына совершилась. С этих пор начинается длинный ряд его проделок, о которых мы еще будем говорить.

Куч-беги любил деньги не как средство, а как цель; любил в них металл, звук, форму, нередко безобразную, любил в них все, – а эта страсть, как известно, самая сильная, самая исступленная. Мы уже заметили, что он не щадил никаких средств для приобретения денег, но нередко духовенство, со своим Кораном, разрушало самые бойкие его затеи. Так, однажды, он хотел увеличить пошлину с привозных товаров, но муллы ему доказали ясно, что Коран претит брать с товаров мусульман более одного процента с тридцати, и он должен был ограничиться налогами на одних кяфиров, но и тут оказалось важное неудобство. Армяне и индийцы, принимавшие важное участие в торговле Бухарии, особенно первые, должны были избрать другой путь своей деятельности, и Бухара, считавшаяся первым рынком Средней Азии, начинала утрачивать свою торговую важность, а это относилось к Куч-беги лично, потому что он был первым купцом в городе, по преимуществу, купеческому.

Главнейшая отрасль доходов Куч-беги состояла в косвенных поборах. Он тщательно подстерегал богатых купцов, и едва кто-нибудь выказывался из толпы, немедленно являлись на него доносы или в несоблюдении правил веры, или в употреблении запрещенного Магометом напитка, или в обмеривании, обвешивании и проч., улика всегда была наготове, и только значительный выкуп, и нередко конфискация всего имущества, спасали жизнь виновного. В Бухаре все ходили только что не в рубищах, повесив головы, набожно поглаживая бороды и бережно затаив свои мысли, не только поступки; но и тут Куч-беги находил своих жертв, и в этом случае Мартын был деятельным его помощником. Он имел тесные связи с бухарскими евреями, по единоверию ли, – не известно было, за истину какой религии он придерживался, – или единомыслию, и через них выведывал о богатстве и тайных поступках бухарских подданных; но, наконец, и эта мера налогов не могла же быть неистощимой; правда, хан мало обращал внимания на повсеместную, особенно наружную бедность; он ханжил и довольствовался тем, что видел мечети, наполненные народом, а благословения ли воссылают они, или проклятия, – он об этом не справлялся; худо было то для Куч-беги, что многие действительно обеднели, другие оставили Бухару. Он позвал Мартына.

– Ты осел, а не мудрец, – сказал он ему, – и золота тебе не выдумать, мне сказал Сикендер, (Бюрнс, которого Куч-беги уважал) так научи, как приобрести его. – Мартын давно придумал одно очень затейливое, по его мнению, предприятие, которое сильно отдавалось Европой и только дожидался случая, чтобы объяснить его умному визирю.

– У вас, в благословенной Бухаре, сказал он, выпивают чаю в день столько, сколько в другом месте не выпьют воды; только и видишь, что чайных продавцов на всех перекрестках, не говорю о караван-сараях. Бухарец слова не скажет, не выпивши чашки чаю.

– Благодаря Аллаха, народ эмира благоденствует; но мне что из того?

– Мелкие продавцы и обманывают, и обкрадывают народ: запрети им эту промышленность, предоставь ее одному себе, или отдай на откуп. – Мартын объяснил, что значит откуп, и сметливый визирь тотчас понял! Глаза его заблестали радостью. – Ты точно мудрец, – воскликнул он. – Но Коран?

– Коран ничего не говорит о чае. – Но Мартын ошибся. Духовенство ясно доказало Кораном, что эта мера противна религии и восстало против нее всей своей силой. Вскоре помер старый эмир, и звезда счастья Куч-беги закатилась: блестящее предприятие его не удалось.

Мартын со званием доктора должен был необходимо соединять звание астролога, предвещателя и проч. Однажды старый хан вздумал похрабриться и собрать войско против Хивы; ему не хотелось подвергать своей особы опасностям и лишениям похода и он вверил войско начальству Куч-беги. Как было отделаться от этого поручения визирю? Он посоветовал хану спросить у звезд, благоприятна ли будет эта война и каким образом вести ее? Призвали Мартына, и тот, рассмотрев, как следует, небо, отвечал положительно, что поход удастся, но для блага Бухарии нужно, чтобы Куч-беги оставался дома и не покидал кормила государственного правления. – Войско отправилось под начальством какого-то узбека, но не прошло и двух недель, как оно прибежало назад, разбитое неприятелем и гонимое страхом. Хан велел казнить главноначальствующего экспедицией и Мартына; но Куч-беги спас Мартына. «Что ему в своей голове, – возразил он хану, – захочет, найдет другую; ведь он сам дьявол: зачем же наживать его злобу».

Это обстоятельство показало Мартыну всю неверность его положения в Бухаре; а хлеб, добываемый им, был тяжел и горек. Может быть Мартын заглянул и внутрь себя, ведь бывают же эти злосчастные минуты в жизни, и ему стало страшно убить нравственное существование свое, убить надежду на будущее, надежду, единственную утешительницу в жизни... О бедность, бедность, до чего ты низводишь людей! Проповедуйте о твердости, о нравственном величии духа, лежа в бархатных креслах, а низойдите до положения Мартына.

Как бы то ни было, он решился оставить Бухару. Россия ему представлялась еще Азией, только более гостеприимной, в которой было много непочатых рудников для его деятельности, и он решился ехать в Россию. После долгих усилий, Куч-беги отпустил его, но, как водится, велел прежде обобрать его с ног до головы. Мартын, наученный опытом, предвидел это и вручил свой маленький капиталец одному честному еврею, который и возвратил его в целости на границе русской. Не посчастливилось Мартыну и в России.

Судьба Куч-беги совершилась иначе. Молодой хан Несср-Улла, выведенный, наконец, из терпения деспотическими поступками Куч-беги, решился отдать приказание схватить его, но так испугался этой минутной решимости, что выехал за город и окружил себя войском; он готов был отменить это распоряжение, как ему донесли, что Куч-беги уже схвачен и брошен в яму. Имение его было конфисковано, но Несср-Улла оставил на этот раз ему жизнь, по просьбе старой ханши, своей матери. Куч-беги удалился, по соизволению хана, в маленькое, оставленное ему поместье и жил как истинный философ, узнавший всю тщету человеческой власти. Раз, сидя со своими домашними в саду, он увидел целую ватагу приближавшихся к нему вооруженных людей: это мои палачи, – сказал он равнодушно, – и, действительно, это были палачи, присланные ханом. Куч-беги пошел на казнь, так же беспечно, как он ходил в свой сад.

Экспедиция на пути в Бухару и военная экспедиция, действовавшая против Хивы (1839–1840 ГОД. Киргиз-Казачья степь)

Посвящено К-не Ал-не Гер...с.

Мы давно уже совершили обыкновенный караванный переход, но, по просьбе одного из спутников наших, все еще шли вперед, до мест, которые он хотел указать нам, и только около вечера остановились близ Мен-эвлии (в Больших Барсуках).

Вот место наших печальных приключений, сказал он, и когда приветливый огонек осветил и согрел нашу джулому, когда благодатный чай освежил нас, он начал читать свой путевой журнал 1839–1840 годов, памятных в киргизской степи по многим отношениям. Я передаю этот журнал, только, с некоторыми сокращениями⁶.

Глава I

Сборы караванных возчиков. Кочевка аулов Утурали; его затруднительное положение. Разговор с нами. Он вверяет своего сына в вожатые. Отправление Мамбета в отряд, действующий против Хивы. Быстрота сообщений между киргизами.

21 Ноября. Большие Барсуки.

Между тем, как военная экспедиция против Хивы подвигалась к Эмбе, мы, окруженные дозором хивинских посланцев, возбудивших против нас враждебных киргизов, в течение нескольких дней оставались неподвижными на Больших Барсуках, в аулах Чиклинского рода, или кружили около них, под тем предлогом, чтобы дать время возчикам приготовиться в дальнейший путь, переменить больных верблюдов, запастись пищей и проч., и между тем, как те пировали в своих аулах, их батыри и старшины пировали в нашем караване, воровали и грабили, следуя повсюду за ним со своими аулами.

Пестра и занимательна картина кочевки киргизского аула. С вечера, накануне выступления, в нем спокойно и беззаботно, но завтра приходит все в движение: мужчины вихрем носятся по разным направлениям степи; старшины отыскивают воду и удобные пастбища для становья, сторожевые выглядывают барантовщиков, которые предпочтительно нападают во время перехода аула, иные собирают стада, другие, наконец, рыщут для потехи, от нечего делать; между тем бедные женщины снимают кибитки, вьючат верблюдов, укладывают на них детей и маленьких ягнят, потом и грязью покрываются в этой изнурительной работе; зато, после, наряжаются в лучшие свои платья, садятся на убранных коней, и длинная вереница верблюдов выступает почти под прикрытием их одних, потому что мужчины, как мы уже заметили, не любят тащиться в шаг верблюда, и тут-то большей частью налетает лихая баранта, и прежде чем всадники соберутся на крик и шум, отхватывает навьюченных верблюдов, лошадей, стада овец, увозит женщин, которые часто бывают предметом этих наездов, и нередко заодно с барантовщиками.

После многих переходов, или, правильной, обходов, достигли мы аулов Утурали. Каково же было наше удивление, когда он, после первого холодного свидания с нами, скрылся, и, не смотря на все усилия наши, не смотря на то, что находился почти безвыходно в караване,

⁶ Экспедиция в Бухару, состоявшая из 14 человек, шла при купеческом караване; она выступила из Оренбурга за несколько дней до выхода военной экспедиции против Хивы, когда неприязненные действия между Россией и этим ханством уже начались.

не показывался нам. Наконец, раз, в полночь, он взошел в нашу кибитку со всевозможными предосторожностями, – «я погиб, если узнают о моих сношениях с вами, – были первые слова его, – Науман (хивинский посланец) сторожит нас, и моя безусловная преданность России возбуждает давно его подозрения». Я отдал Утурали письмо от султана-правителя Юсупа и требовал искреннего и решительного совета относительно своего положения.

Утурали сомнительно покачал головой. Это был старик лет 75, бодрый и здоровый, с нависшими седыми бровями, с чертами лица общими «черной кости», но выказывавший свое внутреннее достоинство обращением важным и какою-то самоуверенностью в словах. Он пользовался совершенным доверием Русского правительства, имел от него две медали, и не смотря на свое сильное влияние на киргизов, держался между правительствами хивинским и нашим, не возбуждая против себя ни ненависти своих, ни подозрения соседственных властей, из которых одной платил он поголовной податью, а другой истинною, хотя малополезной преданностью. Эта двойственная роль, извиняемая его настоящим положением, свидетельствует о его уме и ставит высоко между киргизами. Впрочем, политическая жизнь Утурали еще не кончилась, и будет чудо, если он не испытает превратности судьбы на своем скользком пути⁷.

«Пока в моем ауле, вы безопасны, – сказал он, – никто не захочет нажать себе пожизненной вражды моей и моих детей; но только оставите аулы, я не ручаюсь более ни за что». – «Ведь мы умели отстаивать себя до сих пор», – отвечал я. – «Потому что не было дружного нападения, потому что вы были недалеко от своих укреплений и имели под рукой несколько преданных себе старшин; но чем вы более станете удаляться отсюда, тем положение ваше будет сомнительней. С Науманом идет в Хиву на службу наша молодежь, безначальная и буйная; ей будет весело сослужить хану первую службу и представить ему вас, а если бы не достало для этого наших киргизов, то в ауле Джингази, которого вы встретите, найдется довольно удальцов на такое дело. На караванных людей и на бухарского эльчи, посла, как вы видели, вам нечего надеяться; при первом появлении вооруженного всадника, они скроются в своих джулумах, как было в ту пору, когда окружила вас шайка Акмана».

– В таком случае надо тайно оставить караван и одним прокрасться в Бухару: ты, конечно, добудешь нам хороших вожаков, а, может и сам, захочешь нас проводить.

– Нет, – сказал он решительно, – этого не будет, у каждого колодца на Кизиль-куме сидят киргизы, преданные Хиве, и птица не пролетит, не примеченная ими; а если бы вы и миновали их, то, как вам избежать хивинцев, которые сторожат на всех трех путях между Сыром и Куванью. С правой стороны стоит Бабаджан с 300 хивинцев и каракалпаками, на полдень, прямо, Туджа-Нияз с 350 человеками, большей частью туркменов, а на восходе солнца сам Веиз с хивинцами и целой ордой преданных им киргизов. Думаете ли, что Науман не дал им знать о том, что вы идете в Бухару, и не станет следить вас на побеге? Нет, по-моему, лучше прямо ехать в Хиву, чем делать этот обход, а еще лучше предаться воле Божьей и ожидать от нее решения своей судьбы.

– А, по-моему, не так, – отвечал я, с досадой, – и прежде чем попаду в Хиву, испытаю все средства, чтобы избавиться от нее. Я призвал тебя затем, чтоб ты помог нам, или, по крайней мере, подал мудрый совет в этом деле; а если бы мне нужно было учиться вашей вере в предопределение судьбы, то я послал бы за муллою и не вводил бы тебя в напрасный страх, попасть в немилость Наумана, которому вы здесь держите стремя, когда он садится на лошадь.

– Мудры твои речи, но и в моих есть смысл; скорее Науман станет держать стремя моего седла, чем я его.

– Утурали, время дорого, – сказал я решительно, – хочешь ли ты доказать преданность свою России, хочешь ли быть полезным нам? Вспомни, я писал с Мамбетом, что мы вполне предались тебе, и что спасение и гибель наша падет на тебя.

⁷ Утурали получил чин хорунжего, за его содействие в нашем деле.

Я забыл сказать, что за несколько дней до этого, собрав довольно положительные сведения о движении войск хивинских на Ак-булакское укрепление и о положении дел в самой Хиве, я решился известить обо всем Корпусного Командира, который, с отрядом войск, был уже, по моему расчету, на пути около Биштамака. С этими сведениями послал я Мамбета, как единственного человека, на верность которого мог положиться, хотя присутствие его при мне было не только полезно, но почти необходимо, а поездка его была не безопасна. Действительно, не прошло и часа, как киргизы узнали о его отбытии: поднялась тревога, изготовилась погоня, но было поздно: Мамбет был далеко. Аулы боялись, чтобы он не навел на них русский отряд, и в этом страхе оставался сам Утурали, а потому слова мои сильно взволновали его; старик несколько задумался и потом начал.

– Оставить караван надобно непременно; но куда идти? На Оренбург далеко, и нельзя обойтись на пути без верблюдов, а с ними не уйдешь от погони; на Орск – надо проходить опять аулы Акмана; кроме того вы можете попасть на шайку Кенисары, или его тестя; на Чушка-куль (Ак-булак) и думать нечего: теперь, наверное, хивинские отряды заняли все перепутья к нему, а может сменили русских и в самом укреплении; на Эмбу⁸ всего бы лучше и почти ближе, но туда и погоня будет всего скорее: решайте сами, – прибавил он, обращаясь ко мне.

– Я решил, – был мой ответ. – Остается найти вожатых.

Утурали не спрашивал, какой путь я избрал, постигая всю важность тайны. «Вожатого нечего далеко искать, – сказал он, – я дам вам своего любимого сына, Ниаза, вы его знаете, пускай умрет там, где умрете вы; этим он докажет и благодарность свою к вам, и преданность отца вашему правительству». Я понимал всю святость такого пожертвования и не расточал благодарности, которая, во всяком случае, была бы ниже своего предмета.

Разговор склонился на положение Хивы, из которой недавно приехали в аул базарчи, а в числе их один из сыновей Утурали. Разделяя общее мнение азиатцев о силе Хивы, а более о недоступности ее, он сомневался в успехе нашей военной экспедиции, говорил, что жители в Хиве совершенно спокойны, но в Кунграте было некоторое волнение, когда узнали о приходе русских на Ак-булак; «теперь же, – прибавил он, – и там все утихло, потому что хан послал лучшего своего военачальника и самого любимого человека, известного батыря, (я забыл его имя) с сильным отрядом туркменов и хивинцев на Ак-булак, строго наказав истребить весь гарнизон и срыть укрепление, или засесть в нем самим, ожидая главного отряда русских».

⁸ На Чушка-куле и Эмбе были временные укрепления военной экспедиции, действовавшей против Хивы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.